

Сомов Орест

Вывеска

Орест Михайлович Сомов

Вывеска

Рассказ путешественника

Хлоп, хлоп, хлоп! Бич моего почтальона раздался в воздухе и перервал утреннюю мою дремоту, наведенную пасмурною, дождливою погодой и однообразным качаньем коляски по весьма не живописной дороге. Почтальон соскочил с седла, отпер дверцы коляски и, почтительно снимая шляпу, сказал мне: "Милостивый государь! Вы благополучно прибыли в Верден; где вам угодно будет остановиться?"

- Где сам знаешь, друг мой; по мне все равно.

- В таком случае я приму смелость рекомендовать вам трактир на почте. Это лучший в городе: все иностранные принцы, все знатные путешественники в нем останавливаются.

Я кивнул головою в знак согласия; почтальон снова вскочил на седло, бич его снова захлопал и звонко отдавался по узким улицам города. Через несколько минут мы остановились у почтового двора, и хозяин трактира, вызванный на улицу со всею своею челядью приветливым стуком бича, подошел ко мне, приподнял свой черный шелковый колпак и, рассыпаясь в учтивостях, просил сделать честь его заведению.

Хозяин, сухой, как ученые разыскания некоторых антиквариетов, и блдный, как муза некоторых элегических поэтов, повел меня в общую залу, засыпая на каждом шагу градом вопросов, догадок, предположений и тому подобного; а между тем он находил еще досуг отдавать приказания трактирному слуге, служанке и двум поваренкам. Все это говорил он с необыкновенною скоростью, как бы боясь, чтобы кашель и удушье, которым он был подвержен, не пресекли у него речи. Вот его-го без греха можно было назвать, по поговорке его единоземцев, словесною мельницей (*moulin a paroles*): отроду я не видывал такого словоохотного и несносного болтуна и расспросчика, даже и из его братьи трактирщиков.

В первой комнате, за щеголеватую конторкой красного дерева с бронзовыми прикрасами, сидела молодая, пригожая девушка с прелестными черными глазами, в которых светился огонь чувства. Она была одета не нарядно, но очень к лицу и так ловчо, как только умеет одеться двадцатилетняя француженка. Если б были еще в моде чувствительные путешествия во вкусе женева Верна, то я описал, бы вам все складочки ее платья, все сгибы, уголки и наклон ее тока и во всем этом искал бы ключа к душе, склонностям и привычкам красавицы; но теперь, на беду нам, путешественникам, настает век взыскательной сущности, и от писателя требуют поменьше мечтательности и побольше дела.

- Дочь моя! - сказал трактирщик, оборотясь к пригожей конторщице. - Постарайся, чтобы требования этого господина выполнялись с возможною точностию и поспешностию. Смеею спросить, милостивый государь, о вашем достоинстве: вы граф или маркиз?

- Ни то, ни другое, господин хозяин. Я просто русский путешественник, дворянин, если вам нужно это знать, и вот все, что могу вам объявить о себе.

- О, разумею! Вы, господа русские князья, изволите утаивать высокий ваш род по тонкому чувству снисхождения, чтоб уволить нас, бедных мещан, от должных вам почестей. Но мы тоже знаем свой долг.

- Я вам сказал о себе сущую правду. Прошу вас не величать меня теми титулами, которых не имею, если не хотите меня огорчить.

- Вижу, что вам угодно соблюдать строгое инкогнито. Извольте, пусть будет по-вашему: я тоже умею кстати быть скромным.

Несмотря на это обещание, когда он ввел меня в залу, то по всему видно было, что он готов был спустить с языка какую-нибудь нелепость вроде сказанных им прежде. К счастью, я взглянул на него вовремя, и мой взгляд наложил на него отрицательную скромность.

В зале сидел толстый, рыжеватый англичанин, с багровыми щеками и носом, с лицом, на котором рука покойной г-жи дю-Дефан также легко могла бы обмануться, как и на лице соплеменника его Гиббона. Голова его, за недостатком шеи, покоилась на груди; лучи света скоплялись на величавой его лысине, как будто в фокусе зажигательного стекла. Расставя врозь мясистые свои ноги, укутанные в длинные штиблеты дикого казимира, англичанин преспокойно и безответно выслушивал льстивые приветствия и корыстные предложения малорослого итальянца, бродячего художника, который вертелся и прискакивал около него, как кошка около жирного куска говядины. Рядом с англичанином сидела, и также безмолвно, его сожительница, высокая, сухая, с одним из тех холодных женских лиц, на которые боишься смотреть, чтоб не простудить себе глаза. По всему видно было, что эта чета, которой итальянец так щедро расточал названия: Signor milordo и Signora milorda, - была чета купцов из лондонского City, переехавшая на твердую землю поважничать перед чужеземцами и вымещать на них спесь и презрительные взгляды, какими с избытком и мужа и жену дарили в Лондоне богатые их сограждане. Четвертое лицо из находившихся в зале был француз самой подозрительной наружности. Он похаживал по комнате, поглядывал то на того, то на другого, останавливался, прислушивался и изредка пожимал губами.

Дурная погода производит на меня весьма сильное влияние: она совершенно владеет нравственным моим расположением. То, что в ясный день забавляло бы меня и смешило, в пасмурный и дождливый выводит из терпения. По сему-то и в Верденской гостинице все было не по мне, все досадно: и болтливость хозяина, и спесь англичан, и низость итальянца, и приглядыванье и подслушиванье неблаговидного француза. Это пагубное влияние усилилось даже до того, что красота молодой конторщицы начала мне казаться самою обыкновенною, а скромный ее вид жеманством провинциальной кокетки. Наконец, не в состоянии был более сносить сего досадного ощущения, схватил я шляпу и, не сказав никому ни слова, назло погоде и своему здоровью, пустился бродить по улицам.

Я за правило себе положил в моих путешествиях везде осмотреть, разведать и отведать, чем славится какое-либо место. Особливо последнее наблюдал я во всей строгости, и не без причины: в винах, плодах и лакомствах, которые отведывал я на местах, где они рождаются или делаются, признавал я вкус, склонности и досужество жителей и тем распространял круг моих нравственно-экономических наблюдений. И здесь, едва вышел я на улицу, как вспомнил, что Верден славится своими конфетами, известными во Франции под именем dragese de Verdun. Нетрудно мне было их отыскать: в редком доме, особливо на главных улицах, не было вывески конфетчика; я заходил к каждому, покупал по целому пакету и все это складывал в огромный боковой карман широкого моего страннического плаща. Нагрузясь таким образом, возвратился я в свой трактир с хорошим запасом для послеобеденного моего десерта в коляске.

Уже я всходил на лестницу, как, оборотясь назад, увидел на другой стороне улицы очень замысловатую вывеску. На ней было намалевано обыкновенное цирюльничье блюдце с

такую надпись: "Солнце светит для каждого" ("Le soleil luit pour tout de monde"). Воображение тотчас сказало мне, что хозяин этой вывески должен быть человек необыкновенный, человек... человек... словом, другой Фигаро; любопытство подтакнуло воображению, прибавя, что мне непременно надобно с ним познакомиться. Я остановился на минуту, в раздумье снял шляпу и повел рукою по волосам, после по бороде, нашел, что и те и другая отросли и что мне нельзя продолжать путешествие в таком виде, если не хочу пугать собою встречаемых: самая основательная причина зайти к цирюльнику и продлить у него мое заседание! Не будь этой причины - я нашелся бы в великом затруднении: любопытство мое было сильно, и я избаловал в себе эту склонность тем, что всегда слепо выполнял ее прихоти; к тому же, не в похвальбу сказать, я человек совестливый: не люблю даром отнимать у людей время, особливо у художников. В таком борении двух враждующих между собою чувств, не знаю, на что бы я решился: может быть - до чего не доведет обладающая страсть! - может быть, я решился бы вовсе без нужды пустить себе кровь или вырвать зуб, лишь бы только в угоду любопытству познакомиться с цирюльником и вывести его похождения.

Уже я перескочил через улицу - и в этом должны мне поверить: не только в провинциальных городах Франции, но даже и в самом Париже есть такие улицы, через которые без труда можно перепрыгнуть в один скачок. Короче: я в лавке цирюльника. Ко мне подошел высокий, статный молодой мужчина, с приятным лицом, кудреватыми черными волосами и большими бакенбардами, подравненными волосок к волоску. "В чем нужны вам мои услуги, милостивый государь?" спросил он; и я без дальних околичностей ука зал ему на свою бороду и голову.

- А, понимаю, сударь! Вас нужно обрить, остричь, завить и причесать по самой последней моде, не правда ли?

Я мигом сделал свои соображения: все, что предлагал мне цирюльник в своих догадках, взятое вместе, займет его долее и, следовательно, даст мне более времени поразгово-риться с ним и порасспросить его.

- Правда, друг мой; ты отгадал.

- Ребята! Бастьен, Жано, Блез! - И три мальчика, в белых фартучках и с волосами в бумажках, явились на зов своего хозяина.

- Мигом: горячей воды, бритвенный прибор, ножницы, гребни; чтобы завивальные щипцы были на жару... Я сам буду иметь честь убирать господина.

Покуда мальчики управлялись, я окинул глазом вокруг себя. Комната была убрана очень опрятно и даже с некоторою роскошью: столы, стулья и прочая мебель красного дерева, на окнах чистые кисейные занавески. Большое зеркало висело между двумя окнами; под ним, на столике, разостлана была синяя салфетка с красивыми узорами, а на ней разложены были бритвы в разных футлярах. Другое большое зеркало (psyche) стояло у глухой стены, а на другой стороне, у стены же - шкаф со стеклами, задернутыми тафтою; на шкафу лежала гитара. Хозяин стоял предо мною в платье тонкого сукна и довольно новом, с тонким чистым фартуком, который нашел он тайну как-то щеголевато опоясать вокруг тела.

- По всему видно, друг мой, что ты доволен своим состоянием, - сказал я ему.

- Не жалуюсь, сударь я инею довольно обширную практику. Господин мэр здешнего города никому, кроме меня, не хочет вверить головы и бороды своей, все, кто познатнее и побогаче, также ко мне идут или за мною присылают, не считал молодых и пожилых модниц, которых и здесь, как и во всяком другом городе Франции, можно бы набрать порядочный легион. И вот недавно еще была у меня депутация от отцов иезуитов, чтобы я взял на свое попечение их головы, когда они оснут свое пребывание в нашем городе.

- Берегись, мой друг, ты возбудишь во мне зависть.

- Ах, сударь! Участь моя точно была бы завидна, если б не вмешались сердечные обстоятельства...

- Ты несчастлив, мой друг,- вскрикнул я, не дав ему кончить,- в твои лета, с твоею наружностью, с твоим талантом- несчастлив в любви... Можно ли это? Кто ж эта жестокая? Расскажи мне печальнее твою повесть.

Многие, конечно, подивятся таким восклицаниям; но это с моей стороны был тоже небольшой расчет. Я знал, что ничем нельзя легче растрогать и задобрить француза, как участием и будто бы невольными сказанными приветствиями - и не ошибся. Цирюльник мой приосанился, слегка пощипал себя за бакенбард и сказал:

- Вы напрасно называли девицу Селину Террье жестокою: скажу вам, что она равнодушна была к тем небольшим достоинствам, которые вам угодно было во мне найти. Нет, милостивый государь! Возьмите назад свое обвинение! Моя Селина имеет не каменное сердце. Вы ее видели, вы должны были ее видеть; скажите, похожа ли она на жестокую?

- Как! Это?..

- Это дочь старого, удушливого скряги Террье, содержателя гостиницы, что на почте, где верно и вы остановились.

- А, а!., поздравляю: ты умел выбрать по себе.

- Не правда ли, сударь?.. Скажу вам больше: и повесть моя не так печальна, как вы думаете. В ней есть, конечно, темные пятна, зато есть целые полосы и других цветов, посветлее и повеселее.

- Любопытен бы ее слышать: эта пестрота обещает в ней что-то очень цветистое, и я давно уже предубежден в пользу повествователя.

- О, сударь! Вы слишком милостивы, - примолвил он тихим голосом, с скромным, но довольно в себе уверенным видом. - Впрочем, чтоб вам не скучно было сидеть, - слабые мои дарования в рассказе к вашим услугам.

В сердце у меня стало тепло от удовольствия, как у ребенка, которому подарили любимую игрушку; однако ж я по возможности скрыл свою радость, чтобы не подать рассказчику моему подозрения насчет корыстных видов моего прихода. Я отвечал ему простым уверением, что мне приятно будет узнать его жизнь и подвиги. Вот почти слово в слово собственный его рассказ, за исключением только некоторых междометий, когда ему случалось, заговорившись, делать не то, что надобно; и некоторых коротких выходов против его мальчиков, за то что вода не довольно горяча, а щипцы слишком раскалены, и т.п.

Я уроженец здешнего города. Отец мой был парикмахером и в старинные годы славился здесь тем, что с отличною ловкостью и приятностью начесывал голубиные крылышки (ailes de pigeon) на головах здешних модников и взбивал огромные шиньоны на величавых челах здешних красавиц. Он считался очень достаточным человеком, имел обширное волосочесальное заведение и мог бы со временем сделаться важным капиталистом; но революция все оборотила вверх дном: парики слетели с голов, пудра рассеялась по воздуху, как дым славы, голубиные крылышки опустились и огромные шиньоны пали на зыбких своих основаниях. Место их заступили не только не чесанные, но еще нарочно всклокоченные головы; целые толпы парикмахеров, за неимением лучшего дела, пошли по миру, в том числе и отец мой разорился. Однако ж, как человек сметливый, он не утопился с горя и не сделался пьяницей от нечего делать; но, припрятав гребенки и завивальные щипцы, из прежних своих

принадлежностей оставил при себе один фартук и определился служителем в один славный по тогдашнему времени кофейный дом, носивший не помню какое-то грозное революционное имя. Хозяин этого дома славился своею изобретательностью и тою применчивостию к обстоятельствам, которую в нынешнее насмешливое время называют флюгерством (le girouetisme): он придавал самые патриотические в тогдашнем смысле названия своим мороженым, питьям и сластям; от этого дом его был беспрестанно полон, а карман и того полнее. Здесь отец мой умел снова составить себе посильный капиталец из крох и опивок многочисленных посетителей кофейного дома; и как сыну неприлично клеветать на память отца своего, то я не скажу положительно, чтобы как-нибудь, ошибкою, западало иногда к нему в карман что-либо хозяйское. Девушка Флора, молодая конторщица, была крайне дружна с отцом моим, который, сколько я мог судить по остаткам, был детина видный и очень не дурен лицом: мудрено ли, что они вместе вели счет исправно? Хозяин был доволен, они не жаловались, а мне и того меньше причин жаловаться, потому что взаимной их дружбе я обязан бытием моим. Короче: лет через пять отец мой -и девушка Флора пришли к хозяину, объявляя, что не могут более служить ему, разочлись с ним, получили сполна выслуженные у него деньги и в тот же день заключили брачный свой союз пред лицом муниципального сословия. Девушка Флора, ставшая г-жею Жак, имела тоже за собою не одно ремесло: еще до вступления своего в кофейный дом, она прошла полный курс воспитания в разных модных магазинах и выучилась искусно делать цветы и головные уборы, шить дамские платья и ...всего не припомнишь. Молодые супруги наняли уютную и опрятную квартиру. Мадам Жак снова принялась за иголки, проволоки, шелка и разноцветные обрезки; мосье Жак снова отыскал свои щипцы и гребенки и начал завивать модные головы а-ла Титюс; они прибили над дверьми своей квартиры красивую вывеску, на которой написаны были римляне с курчавыми головами и римлянки в новомодных тюниках и с цветочными уборами в волосах; замысловатая надпись на вывеске: "Aux tetes romaines: Citoyen Jacques, coiffeur, et sa femme, fleuriste et marchande de modes" еще более придавала цены магазину в понятиях тогдашних патриотов. По этому заманчивому названию магазина, а еще более по новости, модники и модницы налетали роями, и если не мед, то деньги оставляли в нем. Дела моих родителей пошли как нельзя лучше: к довершению их счастья, небо укрепило еще более союз их, послав им меня. Отец мой хотел назвать меня просто Жаком, чтоб увековечить это имя в нашем роду, но мать моя доказала ему, что такие имена были тогда не в моде и что мне должно было дать какое-нибудь громкое имя греческое: отец мой и тут, как и во всем, послушался жены своей - меня назвали Ахиллом.

Не стану вам рассказывать истории первых лет моей жизни и перейду к моему воспитанию. На восьмом году возраста меня отдали в школу, где я многому кое-чему учился; иное понимал и теперь помню, другого не понимал и теперь вовсе не знаю. Но, признаюсь, понятнее всего были для меня романы, которые читывал я украдкою. Они с самых ранних годов показывали мне свет сквозь розовое стеклышко, которое теперь, с прибавкою лет и опытности, хотя отчасти и потускнело, но все еще не изменило прежнего своего цвета. В школе, куда я ходил целые семь лет почти каждый день, обучались также и девушки. Не понимаю, почему многие чужестранцы дивятся ловкости и развязности французов в обхождении с женщинами и той светскости, тому знанию приличий, которые замечаются у нас между людьми почти всякого состояния. Разве эти чужестранцы не знают, что у нас оба пола с молодых лет привыкают быть вместе; что воспитание, игры детства и проч. доставляют нам к тому беспрестанные случаи? От этого мы привыкаем к вежливости в таком еще возрасте, когда у других народов дети низших званий не имеют о ней ни малейшего понятия; от этого мы рано приобретаем тонкое чувство приличия, которое назначает должные границы между позволительным и непозволительным в обращении с прекрасным полом и отбрасывает все грубое, резкое и непристойное в речах и поступках. И вот где, милостивый государь, должно искать источника светскости и обходительности французов.

Я сказал уже вам, что в той же школе обучались и девушки. Иные были старше меня, а из тех, которые были одних со мною лет или моложе, ни одна мне не нравилась: следовательно, я

не мог еще молодым моим воображением сделать поверки тому, что читал в романах. Пять лет уже сидел я на школьной скамье, был первым в ученье и в играх и тем заслуживал уважение от мальчиков; девушки часто заглядывались на меня, и, без хвастовства сказать, monsieur Achille слыл первым учеником, первым затейником и первым красавцем, словом, Фениксом своего училища. Около этого времени привели к нам в школу милую семилетнюю девочку с таким пригоженьким личиком, с такими черненькими, блестящими глазками, с таким умильным, сиротливым взглядом, что я в одну минуту почувствовал к ней жалость и какое-то непреодолимое влечение. Вы, конечно, знаете, сударь, школьную повадку, по которой всякого новобранца принимают на искуc, т. е. старые ученики придираются к нему, щиплют его, дразнят и подсмеивают; и если он выдержит это испытание, т. е. если не плача и не жмурясь вытерпит щипки, толчки и насмешки, или если он такой смельчак, который, несмотря на неравенство сил, станет драться со всяким и покажет удальство и проворство в ручном бою, - тогда его больше не трогают и объявляют добрым товарищем. Такой искуc при вступлении моем в школу выдержал я с успехом, и это отчасти было немаловажною причиною, по которой школьные товарищи начали меня уважать.

Девушкам тоже бывают испытания, хотя и полегче: их не заставляют терпеть толчки и щипки. Так было и в этот раз: увидя, что бедное дитя робко и сиротливо поглядывало на всех и не смело мешаться в наши игры, все - и девочки и мальчики, начали над нею подшучивать, пугать строгостию школьной жизни, темною комнатою и разными наказаниями. Малютка расплакалась, и за это ее пуще прежнего начали дразнить. Я тотчас за нее вступился, стыдил девушек, особливо взрослых, и объявил мальчикам, что дерусь со всяким, кто станет обижать ее. Видя, что я взял маленькую ученицу под свое покровительство, и зная на деле, как верно я держал свое слово, в один миг все от нее отстали; я подошел к ней, утешал ее, приласкал и уверил, что это была только шутка новых ее товарищей. Милая малютка положила свои ручонки ко мне на плечи, подняла прелестную свою головку вверх и поблагодарила меня таким умильным взором, с такою радостною улыбкой сквозь слезы, что у меня сердце забилося сильнее обыкновенного и я тут же поклялся быть всегдашним ее другом и защитником. Вы, может быть, уже догадались, сударь, что эта малютка была Селина Террье.

Два года еще после того оставался я в школе. Селина подрастала на моих глазах и час от часу более ко мне привязывалась. В играх она старалась быть как можно ближе ко мне; обижал ли ее кто - она тотчас подбегала ко мне и жаловалась. Вы не можете вообразить себе того удовольствия, которое чувствовал я, когда она, бывало, сядет подле меня, ласкается ко мне, гладит меня по лицу маленькою своею ручонкой и называет меня своим другом, своим единственным другом. Наконец родители взяли меня из училища. Это стоило многих слез Селине, и, признаюсь, мне самому было грустно ее оставить. Однако ж я под предлогом, чтобы повидаться с прежними моими школьными товарищами, каждый день заходил в училище и всегда выбирал те часы, которые ученикам даются для отдыха и для игр. Селина выбегала ко мне навстречу, весело и приветливо кричала мне еще издали: "Здравствуйте, добрый мой друг!", рассказывала мне обо всем, что с нею случилось: о своем ученье, забавах и детских горестях. Всякий раз приносил я ей или куклу или лакомства, и милая малютка благодарила меня за них, как за самые драгоценные подарки.

Между тем годы неслись вперед. Селина все подрастала и с каждым годом становилась стройнее и пригожее. Уже я видел в ней не резвое, игривое дитя, но прелестную девушку, расцветавшую как юная роза в весеннее утро; уже в обращении со мною она показывала более скромности и даже некоторую застенчивость, хотя и не отбросила прежней своей доверчивости; уже я видел в ней будущую подругу моей жизни и наперед сулил себе блаженство в союзе с нею, не предполагая и не воображая никаких препон. Вместо кукол и лакомств начал я носить ей мадригалы, экспромты и триолеты, которые кропал для нее на досуге, и, скажу откровенно, сударь, - некоторыми из них сам был очень доволен. Селина принимала их с такою ласкающею улыбкой, с таким блеском радости в глазах и читала их с таким умильным выражением голоса, что я считал себя, по крайней мере, наравне с нашими

Буфлерами, Доратами, Леонарами и другими стихотворными поклонниками прекрасного пола и признавал в себе решительный дар поэзии.

Я позабыл вам сказать, что отец мой не мог устоять против приманок обольстительной мысли - скоро обогатиться. Что делать! Видно, человек создан с этой беспокойною на-клонностию беспрестанно желать больше и больше: она погубила многих честных людей, и даже славных людей; этому служит доказательством еще недавний пример Наполеона. Кто бы сказал лет за десять до нынешнего, что маленький наш капрал¹ променяет французскую империю за тесный уголок на полудиком острове? И вот как. сударь, оправдывается наша пословица: желание лучшего - враг добру (le mieux est l'ennemi du bien). Так и мой отец наскучил верными доходами от своего ремесла и от модного магазина, вздумал вдруг сделаться богатым капиталистом, пустился в подряды и в торговые спекуляции, а что хуже всего, завел большой трактир в здешнем городе, нэзло старому Террье, отцу Селины. Завистливый этот ханжа старался всячески вредить нам, подкупал почтальонов, чтоб они завозили к нему проезжих, всякими неправдами переманивал от нас постояльцев и посетителей, печатал препышные объявления о своей гостинице не только в здешних, но и в заграничных листках - и успел в адских своих расчетах: его трактир постоянно был набит жильцами, проезжими путешественниками и здешними гуляками, а к нам редко-редко кто заглядывал, и то разве за недостатком места в гостинице Террье. К довершению своей злобы, узнав, что я люблю Селину и каждый день с нею вижусь, он взял ее из школы и запретил ей принимать меня. Все мои старания, все убеждения остались без пользы: Селина плакала, я горевал, и в это время отец мой с каждым днем получал самые огорчительные известия. Все его спекуляции лопались как мыльные пузыри, подряды оставались в чистый наклад, и наконец он, скрепя сердце, принужден был объявить себя банкротом.

Я побежал сказать Селине о нашем несчастье, думая, что как-нибудь прокрадусь в приемную комнату трактира, куда отец посадил ее конторщицей и где мне иногда удавалось с нею видеться. В самых дверях столкнулся со мною старый Террье. "А, любезный господин Ахилл,- сказал он мне с самою злою улыбкою, - вы, верно, отыскиваете здесь кого-нибудь из комиссионеров или торговых товарищей почтенного вашего батюшки?.. Жалею, очень жалею о ваших неудачах. Впрочем, это послужит полезным уроком для других выскочек - не братья не за свое дело. Теперь же я попрошу вас уволить мой дом от ваших посещений; смею вас уверить, что даже прогулки ваши по здешней улице будут напрасны и только вам же могут нанести неприятности. Без дальних околичностей - вот ступеньки вниз и на мостовую!"

Я готов был стиснуть горло старому насмешнику так, чтобы слова замерли в чахлой его груди; но вспомнил, что он отец Селины, - и удержался. Вместо всяких возражений я бросил на него убийственный взгляд, в ответ на это он подобрал плоские свои губы с такою ужимкой, которая ясно говорила. "Я не боюсь твоего гнева и презираю твои угрозы". Вслед за этим он хлопнул дверью почти перед самым моим носом и оставил меня выветривать свою досаду на улице.

С пылавшим лицом и кипевшею кровью побрел я домой - уже не в большой и богатый трактир, а в скудную, тесную квартиру на конце города. Здесь ожидали меня новые неприятности, вместо прежних нарядных мебели увидел я самые только необходимые и самые бедные; отец и мать моя, сидя по разным углам, вели между собою страшную перебранку: мать укоряла отца за его нерасчетливость и безрассудные спекуляции, а отец делал ей упреки за ее мотовство, страсть к нарядам и неумеренную роскошь. Эти домашние междоусобия возобновлялись у них каждый день, и не было способа помирить или унять их. Мать моя сделалась крайне гневлива, криклива и слезлива и оттого нажила себе чахотку, отец мой, уже несколько лет познакомившийся с подагрой, стал чаще прежнего чувствовать припадки сей болезни. Таким образом они поминутными своими ссорами все глубже и глубже рыли друг для друга могилу. В один день мать моя до того раскричалась и закашлялась, что с криком и кашлем переселилась из здешнего мира... бог весть куда; у отца моего от досады и огорчения (потому что из последнего должно было отправить похороны) подагра поднялась

вверх и задушила его. Я распродал остальное, убогое свое наследие и похоронил родителей моих в одной могиле: там мирно они почивают вместе, как бы в доказательство тому, что гроб примиряет всякую вражду житейскую. Я поплакал на их гробе, потом начал думать о будущей своей участи. Отец мой, в последнее время своей жизни, от нечего делать учил меня прежнему своему ремеслу, т. е. брить бороду, завивать и чесать волосы. Стыдно мне казалось явиться с бритвой и гребенкой в том городе, где некогда все знали меня как достаточного молодого человека и где несчастное безрассудство отца моего было еще у всех в свежей памяти. Как перенести все толки и пересуды? Как выдержать лицемерное сожаление бывших друзей и знакомых, которых, вероятно, довелось бы мне брить или чесать? А Селина? Каково было бы ее сердцу?.. Нет! лучше уйти из здешнего города, переселиться туда, где меня никто не знает,-думал я - и исполнил.

Я бродил из города в город. В одном убирал волосы модников и модниц, в другом определялся в какой-нибудь трактир или кофейный дом; и на это, сударь, была у меня своя мысль: может быть, думал я, со временем буду я счастливым обладателем Селины и наследственного ее трактира; тогда мне нужно будет знать все хозяйственные подробности таких заведений. Между тем тоска подчас грызла мое сердце; иногда даже, признаюсь, закрадывалась в него и ревность: Селина молода и богата, за нее найдутся многие женихи, почему знать? Может быть... и кто поручится за сердце тринадцатилетней девушки? Она скромна, чувствительна, нежна; но эти чувствительность и нежность могут обратиться и к другому какому-нибудь воздыхателю, а по нашей пословице отсутствующие всегда виноваты. Сии грустные думы не беспрестанно, однако ж, меня тревожили; самолюбие в некоторых случаях есть одна из самых утешительных наклонностей человеческой души: оно часто, для разогнания моей тоски, подводило меня к зеркалу, показывало лицо мое в приятнейших видах, нашептывало мне сладкие слова о моем уме, нраве и способностях и прикрепляло ко мне - по крайней мере в моем воображении - самым крепким, неразрывным узлом любовь и постоянство Селины. В такой смене мыслей и занятий, занятий и мыслей протекало мое время; всего огорчительнее было для меня то, что я не получал известия о Селине, да и сам не смел писать к ней, боясь подвергнуть ее гневу отцовскому.

Я все больше и больше приближался к Парижу, куда издавна влекла меня мысль - усовершенствоваться в моем искусстве и устроить будущее свое благосостояние; но человек обдумывает, а бог определяет! Я накопил десятка три наполеондоров и решился, не останавливаясь уже ни в каком городе, прямо идти в столицу. Под вечер одного прекрасного весеннего дня пришел я в Мо; там все было в движении, как будто на каком-нибудь празднике: шумные, веселые толпы молодых воинов то прогуливались по городу с песнями и громкими радостными разговорами, то сходились в кружки на улицах, то, выглядывая из окон трактиров и кофейных домов, ласково привечали пригоженьких девушек и подшучивали над степенными старушками. Откровенная веселость, беззаботность о будущей своей участи, пылкая, неугомонная страсть ловить каждый миг наслаждения и братское согласие, казалось, одушевляли этих добрых воинов. Я позавидовал их счастливой беспечности; подошел к одному кружку, хотел спросить одного молодого солдата о том, о сем, взглянул на него и вскрикнул: "Это ты, Жорж?" - "Это ты, Ахилл?" - был ответ его, и мы обнялись как братья: в молодом солдате узнал я школьного своего товарища. "Да,- продолжал он,- это я, Жорж, бывший твой соученик, теперь же с маленькою солдатской добавкой - Жорж Ламитраль, к твоим услугам".- "Ужели?.." Жорж не дал мне докончить: "Прибереги свои ужели до другой поры,- сказал он,- а теперь милости просим со мною в ближайший трактир выпить кружку доброго вина в память старой нашей дружбы. Товарищи! кому угодно со мною, поспрашивать вместе встречу с старинным другом?" Товарищи мигом нашлись: человек с десять молодых, бойких солдат окружили нас, и чрез минуту мы очутились в особой комнате трактира, за столом, уставленным бутылками и стаканами.

Между шутками и смехом, которыми сопровождалась каждая выходка казарменного остроумия, Жорж рассказал мне свои похождения. Он также был влюблен по выходе из

школы; богатый и скупой дядя, от которого надеялся он получить наследство, отказал ему в своем согласии и во всякой помощи, невеста изменила - и он с отчаяния сделался солдатом. Видно, однако ж, что отчаяние доброго Жоржа не было неисцелимо: в толпе веселых товарищей он скоро забыл все свое горе, и любовь, и потерю богатого наследства; си пел, пил вино и проказил за четверых.

Я слушал рассказы, каламбуры и песни и тянул рука на руку с этими весельчаками. В голове у меня шумело против обыкновения, потому что, не в похвальбу скажу, сударь, - я всегда был воздержан; а в молодости, до этой встречи, не помню, чтобы когда у меня в глазах двоилось от хмеля.

- Послушай, любезный Ахилл, - сказал мне Жорж, - ты, мне кажется, пьешь за здоровье своей красавицы и пьешь, как красавица.

- Нет, мой друг; ты видишь, что я не отстаю от других...

- Не отстаешь! и только-то?.. Ведь ты у нас гость, и мы тебя потчуем; так ты должен пить за честь нашего полка и за здоровье каждого из собеседников.

Рюмки снова зашевелились, я видел, что мне не отделаться ничем от этой пирушки, и пустился пить наудалую все, что в меня ни лили. Пирушка делалась шумнее и шумнее; начались взаимные уверения и клятвы в вечной, неразлучной дружбе...

- Эх, друг Ахилл, - сказал мне Жорж, ударя меня по плечу, - для чего ты не будешь с нами на поле чести?.. Сказать ли тебе за тайну то, что и сам я слышал за тайну: полк наш идет с большою армией в Московию; ты помнишь, еще в школе учитель географии сказывал нам, что там-то золотые горы, особливо в Сибири, немного в сторону от Москвы. В этом городе есть даже огромные колокола из чистого серебра, а куполы церковей покрыты кованым золотом. . Я ведь знаю твою историю: ты любишь в нашем городе Селину Террье и прочее и прочее - все знаю. Послушайся меня: в Москве мы столько накуем наполеондоров, что каждый из нас, верно, возвратится в карете, которая до верху будет набита золотом; притом же, офицерские чины, которые вольноопределяющимся легко схватить, знаки отличия, раны, славное имя... Кого это не сведет с ума? Не только старый Террье - сам Великий Могол за честь себе поставит иметь такого зятя.

Товарищи Жоржевы, вслушавшись в наш разговор, также пристали ко мне и начали меня подговаривать и сулили воздушные замки, льстили моему самолюбию... Короче, сударь: хмель, золотые надежды, пробужденное честолюбие, желание теснее сблизиться с такими славными молодцами... короче, сударь: на другой день я проснулся с тяжелою головою, но в легком солдатском мундире. Новые товарищи поздравили меня, рассказали, что я накануне сам доброю волею записался в их полк и был у командиров, что имя мое внесено в полковой список и проч. и проч. Делать было нечего: уйти я не мог и не думал, потому что считал побег бесчестным и не хотел подать худого о себе мнения новым моим сослуживцам. Я остался солдатом и ревностно принялся за нежданную мою должность.

Полк наш через день после того отправился в поход, прошел всю Германию, где все клонилось тогда перед нами; наконец увидели мы берега Немана. "Так вот Россия; так здесь-то мы попируем, здесь-то будем тонуть по горло в золоте и возвратимся крезами!" - думали мы. Вы помните, сударь, как сбылись наши пышные надежды... Но не стану забежать вперед и расскажу вам главные со мною случаи в этом походе, который и теперь еще часто пугает меня воспоминанием, как недавний, тяжкий сон.

С самого перехода чрез Неман мы увидели, что не все так хорошо шло, как нам обещали. Мы, правда, довольно скоро дошли до Смоленска; но здесь нам должно было каждый шаг вперед покупать нашу кровь.

Поле Бородинское встретило нас такую потехою, какой и самые старые служивые, по их признанию, сроду не видывали. Здесь уже некоторые из наших солдат вспомнили и начали потихоньку напевать старый романс:

Худо, худо, о французы,

В Ронсевале было вам...

Но мы все еще не лишились бодрости: высокое мнение о воинских познаниях Наполеона и его генералов, уверенность в непобедимости наших войск и двадцать лет постоянной славы одушевляли даже самых робких из нас... Так шли мы от Можайска к стенам Москвы. С одной горы засияли перед нами куполы церквей и башен московских; сердце каждого из нас распрыгалось от радости: еще одно, положим, самое упорное сражение - и мы в стенах столицы русской! По знаку, войско наше остановилось: из колонны в колонну, из ряда в ряд пронесся слух, что уже никакого войска не было в Москве и что здесь явится к Наполеону депутация и поднесет ему городские ключи. Ждем несколько времени никто не является: в обширном городе мертвая тишина, как будто бы ужасный мор в одну ночь истребил всех жителей, как будто бы эти высокие башни, эти огромные здания стояли теперь надгробными памятниками отжившего населения!.. Впереди нас и поодаль от всех генералов, Наполеон расхаживал с явными знаками нетерпеливости: он то расстегивал, то застегивал свой сюртук, то быстрым движением срывал с руки перчатку, то снова надевал ее; поминутно повертывал на голове шляпу, иногда даже снимал ее, как будто бы ему было душно, тяжело! То, сложа руки, тихо расхаживал он туда и сюда, и казалось, был в самом неприятном раздумье; то вдруг, раскинув руки, начинал он ходить быстрым шагом, щелкал пальцами, как будто бы этим движением хотел отогнать от себя какую-то досадную мысль. В таких, почти судорожных приемах и оборотах, со всеми признаками своенравного, упрямого ожидания, провел он более получаса, поминутно поглядывая на большую дорогу к городу... Депутация не показывалась, и даже не было надежды ее увидеть. У нас что-то тяжкое легло на сердце: мы сомнительно переглядывались между собою, как будто желая спросить друг у друга: что из этого будет? Но все, и старшие и младшие, хранили набожное молчание: все видели, что маленький наш капрал сердился, и знали, что в этом расположении духа он не любил шутить. Вдруг он обернулся к войскам, громко и гневно крикнул: "Вперед, к городу!" - и все понеслось за ним. Приближаемся к заставе - все тихо, как в могиле; проходим по улицам нигде нет ни души, дома заперты, площади и рынки пусты; вместо радостного торжества победы какое-то зловещее уныние овладело нами; каждый из нас думал: это не к добру! Нам грозят или тайные подкопы и засады, или голодная смерть в стенах огромного опустелого города. Но всякое неприязненное ощущение недолговечно у французов, особенно там, где их много вместе. Мы доедали последние крохи, покинутые в Москве ушедшими жителями, и от скуки, для препровождения времени, распивали вина, оставшиеся в погребах богачей, растаскивали дорогие вещи из их домов, ломали и портили то, чего не могли унес-ти, и, роясь в земле и в подвалах, искали запрятанных сокровищ. Вы скажете, сударь, что руки у нас не совсем были чисты, но таков был тогдашний наш военный дух: понятие о славе поселяли в нас неразлучно с понятием о богатой контрибуции; а все то, что каждый из нас мог захватить у вооруженного ли, безоружного ли неприятеля, считалось честною добычей.

Не долго, однако ж, могли мы спокойно хозяйничать в Москве: начались непрерывные пожары, и мы были в поминутном страхе, чтоб нас и самих не сожгли вместе с городом. Продовольствия час от часу уменьшались; фуражеров наших или ловили русские партизаны, или душили крестьяне. Притом же носились слухи, что Москва отовсюду окружена была русскими войсками, которые ждали нас, как обреченную свою добычу, и уже заранее пировали нашу гибель. Ропот, неразлучный спутник отчаяния начал явно возвышать свой голос в рядах нашего войска. "Зачем он привел нас сюда? Разве он хотел, чтоб мы поколели с голоду, как тощие собаки; либо были изжарены медленным огнем, как сельди у парижских наших торговков?" Таковы были речи почти у всех наших солдат. Доверенность к предводителю войск исчезла; чувство эгоизма и своекорыстия заступило место согласия и

привязи между простыми воинами и даже между офицерами; жуткий страх вытеснил прежнюю бодрость и отвагу. Москва нам опротивела: нам было в пространных стенах ее, как в тесной и душной могиле. Мы нетерпеливо ждали как блага той минуты, когда выступим из этого города, хотя и чувствовали, что нам нельзя было бороться с неравными силами бодрого, ожесточенного неприятеля. Но в тогдашнем положении дел явная гибель казалась нам сноснее томительной неизвестности.

Наконец, после шести недель страданий и мучительных тревог, нам сказано был поход. Но какое жалкое и вместе странное зрелище представляло наше войско по выходе из Москвы! Число солдат крайне уменьшилось, и оставшиеся в рядах наших были как выходцы из того света: бледны, тощи и слабы. Вместо красивых мундиров на них оставались либо противные для глаз лохмотья, либо пестрые, шутовские разнорядки, в коих наряды московских щеголих мешались с мужским платьем старого покроя, с облачением духовенства и обувью русских крестьян. Это еще не все: нас встретила преждевременная суровая русская зима, по пятам за нами гналась сильная армия, которая каждый день истребляла у нас часть войск, отбивала обозы и пушки и отнимала все способы продовольствия; впереди ждала нас другая, значительная часть русского войска и перерезывала нам переправу чрез Березину. Нестерпимый холод, недостаток в пище, теплой одежде и обуви действовали на нас как повальный мор: какое то оцепенение всех умственных способностей, какая-то ледяная бесчувственность заставляла нас равнодушно смотреть, как вокруг нас десятками и сотнями падали бедные наши товарищи. Я долго выдерживал всю жестокость непогод, всю тягость лишений; долго крепился и не слушал товарищей, которые подговаривали меня отстать от армии, чтобы промышлять себе пищу мародерством; наконец, все другие чувствования во мне притупились: понятия о чести, об обязанностях воина и о долге повиновения уже для меня не существовали. Одно темное чувство самосохранения, один неумолкающий голос мучительных нужд говорил во мне: я хотел только хлеба, требовал только хлеба и готов был купить его ценою собственной жизни или жизни лучшего моего друга. Я сам уже начал подговаривать солдат нашего полка: человек тридцать согласились идти со мною, и мы начали понемногу отставать; наконец пошли в сторону с большой дороги, по полю, покрытому снегом; бедная тварь, полковая наша собака, поплелась за нами. Она была так тоща и худа, что кости чуть держались в коже; но каким-то чудом осталась жива и не отставала от полка. Я любил бедную Сантинель (так называлась собака) и, пока мог, делился с нею последнюю корку, последним черствым сухарем; зато и она была ко мне крайне привязана и почти от меня не отходила. Товарищи выбрали меня своим предводителем, и я повел их прямо по тому направлению, по которому, вдалеке, что-то чернелось сквозь снег и казалось нам небольшою деревушкой. Однако ж мы обманулись: это был мелкий лесок. Из предосторожности я повел небольшою свой отряд по опушке этого леса; вдруг вижу - несколько человек конницы едет прямо к нам. Мы думали;- что то был казачий разъезд; я велел солдатам своим рассыпаться за деревьями и стрелять из сей засады в случае, если нас заметили и станут на нас нападать. Конные приблизились к нам на ружейный выстрел, и мы без труда узнали в них наших единоземцев, конных егерей не помню которого полка; их было восемь человек. Я показался из своей засады, сказал приветствие землякам и спросил их, куда они ехали?

- Я думаю, туда же, куда и вы идете, товарищ! - отвечал весельчак-трубач, ехавший немного впереди прочих.

- Если так, то мы можем совершить этот поход вместе.

- О, без сомнения! Тем больше, что мы, хотя и конные, а кажется, вас не опередим: бедные наши твари насилу волокут ноги.

- Позвольте узнать,- спросил я у речистого трубача,- кто у вас командир отряда?

- Я к вашим услугам,- отвечал он, - и выбран в эту почетную должность вместе с качеством

парламентера потому, что разумею немного по-немецки.

- Но здесь говорят не по-немецки, а по-русски.

- Все равно: я стану им говорить по-немецки, а если не поймут, - могу по нужде сказать несколько слов по-итальянски, и даже по-испански.

- И можете быть уверены, что вас также не поймут.

- Вот еще! Да на каком же языке им говорить?

- Я думаю, лучше всего, если можно, на русском.

- О! так поздравляю вас: один мой приятель, польский улан, продиктовал мне слов десяток на своем языке. Я записал их; они тут... Черт возьми, какая рассеянность! Теперь только вспомнил, что еще в Москве раскурил трубку этою бумажкой.

Мы засмеялись; трубач и сам со смехом сказал: "Это небольшая беда, сладим как-нибудь". Я первый вызвался уступить ему главное начальство над нашим соединенным отрядом; он пожеманился немного, повторил несколько раз, что уверен в высоких моих познаниях по части тактики, - и, однако ж, принял команду. Мы пошли по небольшой, едва протоптанной тропинке, которая вела из лесу. Конница наша построилась по четыре в ряд; трубач, наш командир, ехал на правом фланге, а я, сомкнув небольшую нашу пехотную колонну в каре, шел следом за конницей. Скоро мы завидели довольно большое селение, в пустынном месте, далеко от большой дороги. Ни одна душа не показывалась; все было тихо и безмолвно, и не было никаких примет, чтобы там находился какой-нибудь неприятельский отряд. Однако ж мы шли с большою осторожностью. Подойдя на пушечный выстрел к селению, трубач, наш начальник, остановил нас и рассудил за приличное сказать своему войску следующую прокламацию:

- Солдаты! готовьтесь к жаркому, отчаянному делу. Впереди ждут нас победа, слава и хлеб; позади - голод, холод и постыдная смерть. Виват Наполеон! Вперед!

Мы бросились вслед за храбрым трубачом к самым ближним домам. При нашем приближении мужчины и женщины, старый и малый выскочили опрометью из этих домов и с криком и плачем побежали внутрь селения. Трубач наш как опытный начальник расставил трех человек из своей конницы для наблюдения и сказал нам, что в случае опасности он затрубит сбор; тогда мы должны все сбегаться и съезжаться в тот двор, где он сам будет. Выслушав сей приказ, мы рассыпались по домам, которые стояли перед нами; первым нашим движением было отыскивать хлеб и съестные припасы. Мы подкрепили свои силы и брали в сумы, что могли. Скоро, однако ж, должно было прекратить эти поборы: не прошло десяти минут, как роковой зык трубы раздался у нас в ушах. Мы выбежали на улицу и услышали в селении страшный шум и звон колоколов; мы, не помня себя, вскочили в тот двор, откуда слышался призывный рев нашего трубача, - и по следам нашим густая толпа крестьян обступила двор, в котором едва мы успели запереть накрепко ворота. Число крестьян беспрестанно усиливалось новыми, которые сбегались со всех сторон. Иные скакали верхом, другие бежали пешие; у многих были ружья, винтовки, пистолеты, копья и сабли, и кажется, это были земские ратники: ими командовал человек в черной меховой шинели, с подвязною шапкой на голове; он разъезжал на добром коне, строил своих ратников и был вооружен с ног до головы: мы заметили у него в руках саблю, за плечами ружье, а за поясом большой турецкий кинжал и пару пистолетов; другая пара была в ольстрах его седла. Прочие крестьяне вооружились, кто чем мог: косами, отпущенными напярник, топорами, насаженными на длинные палки, большими ножами, дубинами, кольями и проч. Перед ними шел священник с крестом, а за ним несколько причетников с хоругвями и образами. Мы едва успели построиться на широком дворе, как человек в черной шинели, подняв саблю вверх, закричал нам по-французски: "Сдайтесь!" Но испуганные рассказами наших товарищей,

которые уверяли, что крестьяне русские не щадят и сдающихся, мы вместо ответа пустили несколько выстрелов. Священник, раненый, зашатался; но видно было, что он не переставал ободрять своих прихожан: нам отвечали тоже целым градом выстрелов, которые, однако ж, не могли нам вредить по высоте забора. Черный человек отдал приказ - и в минуту сотни крестьян явились с огромными пучками соломы; несмотря на меткие наши выстрелы, несмотря на то, что многие из отважных падали мертвые, - другие беспрестанно заступали их места и в короткое время обложили соломою весь двор и зажгли ее. Мы поздно заметили нашу оплошность; хотели отступить на соседний двор - но уже и там пылала солома. Громкое радостное ура! осаждавших крестьян раздалось в воздухе. Нечего было делать; огонь и дым мешали нам стрелять в осаждавших; строение со всех сторон запылало, и нам становилось нестерпимо жарко. Мы решились испытать последнее средство: пройти сквозь прогоревший и рухнувший забор, быстрым движением пробиться сквозь неприятеля и отретироваться в поле. Соблюдая еще некоторый порядок, мы бросились по горячим угольям и непростывшему пеплу соломы; ударили в штыки на толпу крестьян, выдержали залпы стрелков, натиск конных ратников и успели отойти на неко-торое расстояние от пожара. Здесь мы кое-как построились снова; увы! нас не было уже и половины. Мы видели, как некоторых из наших товарищей поднимали вверх на острых косах, других добивали дубинами, третьих тащили, чтобы бросить в пожарище. Но нам было уже не до них: мы думали о собственной безопасности. На дворе становилось темно; короткий день сменялся пасмурным вечером. Отстреливаясь и отступая, пробиваясь сквозь окружавших нас крестьян и поминутно теряя товарищей, мы все подавались в поле. Тут только мы заметили, что храбрый наш трубач с остальными своими егерями уехал вперед и что за ними следом скакал довольно сильный отряд конных ратников. Тени вечера густели больше и больше; погоня за нами становилась слабее; остальных мы выстрелами держали в почтительном расстоянии. Я был ранен, но имел еще довольно силы, когда мы добрались до кустарников. Тут, потеряв надежду схватить нас, крестьяне вовсе нас оставили. Оглянувшись назад, я видел только дальнейшее зарево горевшей деревни. При мне оставалось моих товарищей всего-навсего пять человек, и те были крайне изранены. Мы прилегли в кустах, чтобы скрыться от неприятеля и хоть немного отдохнуть. Никто не смел сказать ни слова, боясь, чтобы не привлечь какого-нибудь скрытого неприятеля: одни заглушаемые стоны раненых были слышны. Утомление от чрезмерных трудов, боль от раны и потеря крови истощили во мне последние силы; я впал в беспамятство и, может быть, истек бы кровью или бы замерз в эту холодную ночь: угадайте, кому я обязан за мое спасение? Беспамятство или какое-то невольное усыпление продержало меня почти до утра в некотором онемении чувств. Пробуждаюсь - и вижу Сантинель, которая, растянувшись по всему моему телу, грела меня косматою своею шерстью и зализывала у меня рану на голове. Бедняжка! она сама была ранена в шею ударом ножа или косы, и лапы ее были обожжены, видно, тогда, когда она вместе с нами выскочила из пожара. Я открыл мою суму, достал корпии, несколько ветошек, которые были у меня в запасе, и склянку водки, захваченную мною в селении; промыл раны благодарному животному, которое так умело чувствовать сделанное ему добро, и обвязал его лапы ветошками; дал Сантинели кусок унесенного мною хлеба, выпил сам глоток водки и закусил остальным куском хлеба. Это меня оживило и ободрило. Я встал на ноги, поглядел на моих товарищей... Все они померли или от ран, или от стужи. Старый усач, добрый мой приятель, сидел закованный в сугробе снега; руками держался он за раненую босую свою ногу, как будто бы еще хотел перевязать ее; открытые глаза его светились в страшной неподвижности посреди посинелого лица, усы обросли инеем, и губы лоснились как стекло от заледеневшего пара. Сердце мое сжалось; тяжело я вздохнул и спешил уйти от сего ужасного зрелища. Сантинель тихо плелась за мною, дрожа и взвизгивая от боли. Я остался один из всех моих товарищей, на жертву холода и недостатков, в земле неприятельской... Куда идти? Как избежать от ужасной смерти? В таких размышлениях прошел я около двухсот шагов. Смотрю: бедный наш бывший начальник, конно-егерский трубач, лежит мертвый на одной поляне. Он весь был изранен: голова разрублена, на воротнике мундира застыла кровь... Добрый конь его стоял над ним, уныло глядел на убитого своего седока и разгребал снег копытом: можно было подумать, что он хотел отдать долг погребения бывшему своему господину! Конь

заржал и замотал головою, когда увидел меня, как будто бы предчувствовал, что я из числа тех, которые принимают участие в судьбе несчастного, погибшего в чужой земле, далеко от своей родины. Я отворотил голову; несколько слез с усилием вырвались из моих глаз. Я пошел далее. Целый день бродил я по окрестностям; скудные мои запасы истощились, голод и холод меня одолевали. Сантинель часто останавливалась, заглядывала мне в глаза и как бы спрашивала: где же конец нашим страданиям? Здесь я узнал собственным опытом, что чем ближе человек бывает к гибели, тем сильнее он привязан к жизни. Я не хотел умереть, дрожал при малейшем шорохе, прятался, увидя вдали что-либо похожее на человека. Под вечер силы вовсе меня оставили; я упал среди поля и не помню, что со мною было... Очнувшись, я увидел себя в крестьянской избе; двое поселян оттирали окостенелые мои члены; человек в черной шинели, тот начальник земских защитников, о котором я прежде рассказывал, сидел в углу на скамье. С первого взгляда мне показалось, что все это вижу я во сне; я закрыл снова глаза, но чувствовал, что меня терли сукном, и убедился в существовании того, что видел. Тут пришла мне страшная мысль, что меня стараются вернуть к жизни для того, чтобы предать новым, ужаснейшим мучениям. Я вскочил: черный человек тихо и с участием спросил меня на французском языке: "Как ты себя чувствуешь, друг мой?" - "Мне лучше, - отвечал я, не помня сам себя от страха, - пустите меня, или..." Черный человек улыбнулся. "Идти! куда? чтобы замерзнуть или быть убиту?" - молвил он. - "Нет, друг, я не пушу тебя". - "Что ж вы хотите со мною делать?" - спросил я изменившимся голосом. "Теперь покамест отогреть и накормить тебя, - отвечал он, - а там что бог внушит мне". Холодный пот меня пронял, зубы у меня застучали так, что звон отдавался в ушах, голос замер, и я с крайним усилием едва мог промолвить: "Как это?" - "Успокойся, друг мой, - отвечал он со смехом, - тебя, я вижу, напугали нашими крестьянами; но здесь ты мой военнопленный. Могу тебя уверить, что я не так страшен, как тебе кажусь..." И, не дав мне еще опомниться, он сказал что-то по-русски своим подчиненным. Мигом принесли графин водки, хлеб и чашу русской похлебки. Черный человек выпил сам, налил другую рюмку и подал мне, потом поднес по рюмке каждому из своих ратников. Я не мог опомниться от удивления и благодарности, хотел изъяснить их новому моему благодетелю, - но он не дал мне времени высказать свои чувствования. "Садись и утоли свой голод", сказал он, подвел меня к столу и посадил меня за чашей горячей похлебки; сам между тем похаживал в молчании по комнате. Я начал есть и, сказать правду, не церемонился; вдруг что-то бросилось мне под ноги; я вздрогнул... Это была моя Сантинель, которая до сих пор спала, пригревшись в углу избы, подле печки. Слезы навернулись у меня на глазах; я прижал к груди своей Сантинель как друга, с которым не надеялся больше видеться в здешней жизни; делился с нею кусками и ласкал ее. Черный человек остановился, казался растроганным и сказал мне: "Да, эта собака стоит, чтоб ее ласкали; она причиною, что мы спасли тебе жизнь. Я с людьми своими ездил для осмотра окрестностей, чтоб узнать, нет ли где неприятельских мародеров. Мы видели многих из погибших твоих товарищей; я осматривал каждого в надежде, что могу спасти кого-нибудь из этих несчастливцев; но все стали добычей мороза или умерли от ран. Таким же образом мы нашли и тебя. Вот еще один несчастный, думал я: вдруг собака, лежавшая подле тебя, встала на ноги и глухим рычаньем как будто хотела нас отогнать. Это возбудило во мне любопытство и участие: я велел поднять тебя; собака скалила зубы, дергала за полы моих людей, наконец, видя, что мы подняли тебя и взложили на седло одного из верховых моих, побрела за нами и не отставала до самой деревни. Я велел ее впустить в избу, кормил хлебом, и она спокойно улеглась, видя или чувствуя, что тебе никакого зла не делали".

Можете вообразить, что я чувствовал, слушая этот рассказ. В другой раз был я обязан Сантинели за сохранение моей жизни; я ласкал ее, плакал как ребенок и впервые после долгих дней страдания и горя ощутил в душе что-то отрадное.

Спустя несколько времени пришли сказать черному человеку, что все готово. Мне дали теплую обувь, укутали шубой и на голову надели меховую шапку; в таком наряде сел я в сани вместе с черным человеком; Сантинель тоже вскочила туда и улеглась на моих ногах. Мы

помчались как стрела по гладкой снежной дороге. За нами скакали около двадцати человек вооруженных крестьян. Через полчаса мы приехали в другое селение, которое по обгорелым остаткам полусожженного дома узнал я как место несчастных наших подвигов. Я вздрогнул, и мороз пробежал у меня по всем составам. Черный человек, видно, заметил это; он ободрял меня и сказал, что один только этот дом и сгорел; что он при нашем отступлении тотчас велел тушить пожар, и это нетрудно было сделать, ибо множество снега подавало к тому все способы; что по сей-то причине крестьяне не все и то очень слабо нас преследовали; наконец, что он на свой счет, выстроит новый дом погоревшему крестьянину и вознаградит его за все убытки. Тут только я узнал, что сострадательный черный человек был помещик этой деревни; прежде служил он в военной службе, а теперь, для охранения своего околотка от наших мародеров, составил из своих крестьян то небольшое земское ополчение, которое так ужасно против нас действовало. Мы подъехали к красивому господскому дому; мне с Сантинелью отвели особую, теплую комнатку и...

- Хозяин! - вскрикнул один из мальчиков моего рассказчика, торопливо вбежавший в комнату.
- Господин мэр прислал за вами и требует вас к себе как можно скорее.

- Ты видишь, что я занят: скажи, что приду, когда окончу...

- Нельзя, хозяин,- прервал докучливый мальчик,- какой-то знатный чиновник приехал из Парижа, и господин мэр непременно должен к нему сей же час явиться; а вы знаете, что господин мэр никому, кроме вас, не доверяет своей .головы.

- Какое безвременье! - вскричал мой волосочесатель, нетерпеливо топнув ногою. - Впрочем, сударь, я в минуту кончу уборку вашей головы и в коротких словах доскажу вам мою историю... Скажи, что сейчас!

Мальчик исчез, а парикмахер спешил докончить мою прическу и свою повесть.

- Новый мой благодетель, которого образ ношу я в моем сердце, но, право, стыжусь изломать его имя неправильным французским выговором, держал меня в своем доме, одел меня, кормил и поил до тех пор, пока остатки французской армии не вышли из России и ожесточение русских крестьян против нас не укротилось. Тогда он сам отвез меня в город, и я поступил в число прочих военнопленных. В продолжение войны 1813 и 1814 годов мне удалось видеть многие города России и в каждом из них или убирать волосы или готовить мороженое и конфеты для желающих. Наконец в одном большом губернском городе я завел лавку, в которой продавал духи и помады, накладные волосы; убирал головы русских красавиц, снаряжал свадебные столы, учил мальчиков искусству волосочесателя и пр. и пр. Сими честными средствами я нажил около пяти тысяч франков на наши деньги, и этому не должно удивляться: господа русские очень щедры, особливо к нам, французам, а я любил порядок и бережливость. При возвращении французских военнопленных я поспешил в отечество, с радостными слезами пришел в родной мой город, с восторгом спешил к Селине - и выслушал от нее новые уверения в верной, неизменной любви. Но злой старик, отец ее, по-прежнему был непреклонен: он слышать не хотел о том, чтоб соединить нас! В досаде я решился идти ему наперекор: иа вывезенные мною из России деньги нанял квартиру прямо против окон этого старого брюзги и здесь ежечасно бешу его тем, что он видит меня, видит, как счастье мне с каждым днем больше и больше благоприятствует - а он не может вредить мне; даже из корыстолюбия не может мне запретить, когда я зазываю несколько добрых приятелей в его трактир, где подчас дразню его полным кошельком золота...

- Чего же ты надеешься вперед, друг мой? - спросил я моего рассказчика.

- Гм! чего я надеюсь, сударь? я надеюсь, сударь, что со временем все переменится. Старик Террье не два же века станет жить: авось либо он исчахнет от зависти, или захлебнется от кашля и удушья.

- А Селина? что она об этом думает?

- Селина любит меня, но любит и отца своего и не хочет его покинуть. Она все не теряет надежды когда-нибудь его умилостивить, а в ожидании переглядывается со мною, пересылается записками и часом даже переговаривается, когда старик выходит из дома. Но я слишком -заговорился, сударь; прическа ваша совсем готова, а меня ждет господин мэр.

- Еще одно слово, друг мой, - сказал я, подавая ему червонец,- скажи мне, пожалуйста, что значит надпись на твоей вывеске: Солнце светит для каждого?

Парикмахер мой немного смешался; довольно неудачно объяснял мне, что сею надписью думал он выразить минувшие свои беды и нынешнее благосостояние, и т. п. Наконец он признался с добродушною улыбкой, что словами Солнце светит для каждого хотел он подразнить старого Террье и высказать ему, что не для него только светит солнце счастья. После такого пояснения он поклонился мне; я вышел и отправился в гостиницу Террье.

В гостинице нашел я необыкновенное волнение. На дворе стояла прекрасная дорожная карета, около которой собралась толпа зевак и толковала о чем-то вполголоса; на лестнице беготня и толкотня ливрейных лакеев и трактирной челяди; вдоль коридора целый строй разных лиц в самом чинном положении и с заказною радостью во взгляде. Я вошел в общую комнату. Толстого англичанина с сухощавою его половиной там уже не было, вертлявый итальянец также исчез, а неблаговидный француз, прилипнув в углу к стене, казалось, не смел дышать. Хозяин трактира почтительно стоял у двери, как бы на посылках, и на этот раз был безгласен как рыба; только глазами умильно следил он человека, который свободно и отчасти горделиво расхаживал взад и вперед по комнате. Я взглянул на сего важного незнакомца и мигом узнал в нем графа***, пэра Франции, с которым несколько раз виделся у одного богатого нашего соотечественника, жившего тогда в Париже. Я подошел к графу, он также узнал меня, сказал мне несколько весьма лестных приветствий, которые старый Террье ловил на лету и, как видно было, составлял по ним новые догадки на мой счет. В эту минуту вошел один из служителей графа и доложил ему, что комнаты его готовы; граф учтиво пригласил меня с собою, и я, имея на него некоторые виды, о коих скажу после, и не подумал отказаться. В коридоре обступила нас густая толпа людей разного звания с поздравлениями, словесными и письменными просьбами разумеется, к графу; некоторые же, сочтя меня или за секретаря его, или за другую важную доверенную особу, относились наперед вполголоса ко мне. Оба мы раскланивались во все стороны, я извинялся и отговаривался, как умел, а граф сказал этим господам, что чрез полчаса примет их в общей зале. Мы вошли в комнаты, приготовленные для графа.

- Не правда ли,- сказал он с улыбкою, - что эти просители очень милы?

- Если вы находите, граф, что они очень милы, - отвечал я, - то для меня это ободрительно, потому что и я имею честь включить себя в число ваших просителей...

- Вы?..- вскрикнул удивленный граф, бросив на меня недоверчивый взгляд, - каким чудом?.. Однако ж, - прибавил он с изученною важностию,- вы здесь иностранец и должны пользоваться правом гостеприимства. Позвольте выслушать вас прежде других.

Граф посадил меня подле себя; я рассказал ему в коротких словах похождения моего парикмахера и просил его содействия в том, чтобы помочь бедному Ахиллу касательно его женитьбы на Селине.

- В том-то и вся ваша просьба - сказал граф, выслушав меня. - Этой беде, кажется, легко помочь, и я охотно готов сделать, что могу, для человека, который проливал кровь свою за Францию, под чьими бы то ни было знаменами. Рассказ ваш задобрил меня в его пользу, и мне как туземцу приятно будет вступить в лестное совместничество с русским, когда дело идет о том, чтобы сделать добро французам. Погодите: сейчас явится ко мне здешний мэр, и я

дам ему аудиенцию в общей комнате трактира. Вы сами увидите, какие будут плоды этой аудиенции; вас я прошу быть свидетелем нашего разговора.

Чрез несколько минут вошел хозяин и с низкими поклонами объявил, что городской мэр и другие чиновники собрались в общей зале и ожидают графа. При сем случае хозяин спросил у графа, угодно ли ему будет, чтоб никого из посторонних не впускать в приемную залу во время аудиенции? На лице старого Террье заметно было худо побежденное любопытство и крайнее желание быть в числе зрителей. Граф с одного взгляда понял, что происходило в душе трактирщика.

- О, нет! - сказал граф. - Я даю публичную аудиенцию, и всякий имеет право быть при ней.

Трактирщик с веселым лицом и с новыми поклонами вышел. Вслед за ним граф, взяв меня под руку, пошел в общую залу.

Мэр и другие чиновники расшаркались и рассыпались в поклонах и приветствиях при появлении графа, который отвечал им барскою уклонкой головы и несколькими ласковыми словами. После долгой церемонии, в которой господа тот-то и тот-то были представлены мэром, граф отвел сего последнего в сторону и говорил с ним минут с десять. Я заметил нашего трактирщика в толпе зрителей: он стоял впереди всех с улыбкой радости, с разгладившимися на лбу морщинами; и, казалось, жадно собирал запасы для будущих своих рассказов.

Граф, переговорив с мэром, подошел вместе с ним на средину залы и сказал громко:

- Кстати, господин мэр: у вас в городе есть один человек, которому я должен уплатить старый долг благодарности за одного моего ближнего родственника, бывшего в походе 1812 года. Человек, о котором я говорю, кажется, должен быть здесь парикмахером: имя его Ахилл, а солдатское прозвище, помнится, Ла-Роз. Я желал бы сделать для него что-нибудь особенное...

Я взглянул на Селину, которая сидела на своем месте, у конторки, - лицо этой молодой девушки прояснилось, и щеки запылали; взглянул на ее отца старый брюзга сделал какую-то странную ужимку, по которой нельзя было разгадать, радовался ли он, или печалился от того, что слышал.

- Я знаю этого человека, который удостоился внимания вашего сиятельства, - отвечал мэр, - и смею уверить, что он поведением своим вполне того заслуживает.

- Очень рад, - промолвил граф, - только не знаю, чем бы вознаградить его за важные услуги, оказанные моему родственнику. Этот мне сказывал, что Ахилл Ла-Роз влюблен был в одну девушку в здешнем городе, был ей всегда верен и надеялся жениться на ней по возвращении сюда. Женился ли он?..

(Я снова взглянул на Селину: она покраснела пуще прежнего, и на глазах у нее навернулись слезы.)

- Нет еще, - отвечал мэр.

- Хозяин, - сказал граф, обратись к трактирщику, который в это время кусал себе губы и переминался на месте как индейский петух, - вели позвать сюда парикмахера Ахилла Ла-Роз.

- Готов исполнить волю вашего сиятельства, - отвечал Террье и поплелся из комнаты в каком-то раздумье или внутренней борьбе. Через две-три минуты он снова явился с Ахиллом, тихо и очень дружелюбно с ним разговаривая.

Ахилл, одетый щеголевато, подошел к графу, поклонился очень вежливо, но не раболепно и

с какою-то воинскою лов-костью. Он все еще, как видно было, не понимал, зачем его позвали. Граф благосклонно объявил ему, что одна знатная особа заботится о его судьбе, и спросил, кто та девица, которую он любил столь нежно и постоянно?

- Она здесь, ваше сиятельство, - вскрикнул Ахилл от полноты чувств, теперь только уразумею причину сего участия, ибо увидел меня подле графа. Вот она, - прибавил он, оборотясь к Селине, - сами извольте судить, заслуживает ли она такую верную и постоянную любовь?

- А, а! Ты прав, друг мой; эти черные глаза очень заслуживают, чтоб о них помнили и на снегах русских... Господин трактирщик! неужели ты решишься еще томить этих молодых людей? Смотри: они созданы друг для друга. Хоть для нового нашего знакомства, согласишься устроить их судьбу... Почему знать! может быть, со временем буду я тебе полезен...

- Готов исполнить волю вашего сиятельства, - повторил Террье затверженную свою фразу с пренизким поклоном и глубоким вздохом. - Будущий мой зять всегда мне нравился как человек степенный и обстоятельный; только некоторые фамильные неудовольствия разлучали нас... Теперь же, при покровительстве вашего сиятельства... Надеюсь, что и меня ваше сиятельство не позабудете... Я давно уже намерен представить правительству кой-какие проекты касательно некоторых отраслей промышленности, и ваше предстательство...

- Хорошо, хорошо!-сказал граф отчасти с нетерпением.- Теперь покамест позволь мне быть у тебя в долгу и радоваться, что я мог исполнить просьбу доброго моего приятеля.

При сих словах граф приветливо взглянул на меня, а я отблагодарил его также взглядом. Полную мою благодарность изъяснил я ему после за обедом, к которому он пригласил меня и за которым мы пили здоровье будущей четы.

Чрез два года мне случилось проезжать снова Верден; я остановился в гостинице Террье. За конторкой по-прежнему сидела Селина, в черном платье и в чепце; старого Террье не было, и наместо его хлопотал знакомец наш, Ахилл как хозяин дома. Он тотчас меня узнал: изъявления радости и благодарности от него и жены его не было конца. Селина сказала мне, что старый Террье умер за полгода пред тем, и по нем-то она носила траур; что до конца своей жизни он радовался, глядя на своих детей, не мог нахвалиться бережливостью и расторопностью Ахилла - и благословил их с любовью на смертном одре. "Он крайне переменялся в последнее время", - примолвила она, скромно потупя глаза и с некоторым замешательством. "Да, он сделался в тысячу раз добрее прежнего", - прибавил муж ее как бы в пояснение того, чего жена не решалась досказать. Я поздравил молодую чету с их счастьем и расстался с ними в сладостной мысли, что был, хотя и не прямою, но все-таки причиною нынешнего их благополучия.